

Феноменология Смутного времени: откуда ждать Минина и Пожарского?

Восприятие текущей политической действительности как исторического феномена дает возможность не только проводить параллели с прошлым, но и позволяет обнаружить устойчивые, ритмически повторяющиеся модели развития русской жизни. Внимательное изучение этих моделей, сопоставляемых с современностью, способствует более адекватному восприятию политической реальности. «Чтобы видеть свое время,— говорил Х. Ортега-и-Гассет,— надо смотреть с расстояния»[1].

Прежде всего такой способ анализа имеет прогностическое значение. Десятилетие 1985—1995 годов обладает яркими чертами, характерными для незавершенной стадии исторического процесса, сущность которого — становление новых политических структур. Однако помимо возможностей конкретных прогнозов на вторую половину 90-х годов создание моделей политической истории имеет и самостоятельное значение как форма выявления заложенного в отечественной истории культурно-исторического феномена: продуктивного рефлекса нации.

Практика построения исторических моделей предполагает их тяжеловесную абстрактно-философскую нагрузку¹. Однако современным политологам, на мой взгляд, недостает именно абстрактно-философского дерзновения в интерпретации фактов. Причем если несколько лет назад, когда уверенность в уникальности пройденного социалистической (и перестроечной) Россией исторического пути была всеобщей, можно было усомниться в правомерности и внутренней последовательности отдаленных сопоставлений, то сейчас, в середине 90-годов, выбор динамических моделей и эпох для их сличения (сравнения и одновременно противопоставления) уже не представляет слишком большого труда.

В методе как отождествления, так и дифференциации различных версий одной и той же исторической модели определяющим является вопрос о *пределах сличения*. Я далек от того, чтобы на протяжении многих веков истории усматривать в ней идентичное политическое содержание или же, напротив, относиться к историческим моделям исключительно как к проявлениям

¹ И признаем сразу, имеет во многом игровой характер. Однако это не тот вид игры, который порождается постмодернистской формой сознания. На мой взгляд, данная трактовка истории тяготеет к фольклорному сознанию, а именно: к «былинному» восприятию соотношения личного и стихийного. Фольклорное сознание противоположно модернизму в обоих терминологических различиях последнего: и в литературно-художественном, и в мировоззренческом (модернизм как общее направление мысли в европейской культуре Нового времени). Традиционализм не исключает частного отказа от традиции, но присоединяет выдающееся, исключительное к своему культурному богатству. Для творцов фольклора историческая вежа или личность глубже индивидуализированная, более «отслоившаяся» от привычного хода вещей, не противоречит единому историческому духу, а, напротив, вносит в общую модель специфические элементы и дополняет ее смысл до подлинной универсальности.

ритмических повторов, лейтмотивов традиции. Точность и гибкость динамической модели тем значительнее, чем лучше уравнивают друг друга стремление автора к выявлению повторяемости в истории и точность фиксации своеобразия эпохи, ее злободневных интересов.

Мне представляется, что такой продуктивной моделью последнего десятилетия отечественной истории окажется обогащенный конкретикой общеизвестный термин «Смутное время», гениально сформулированный в начале XVII века, однако же до сих пор осмысленный, скорее, как предмет для публицистических параллелей. Каковы же критерии определения различных эпох как версий единой модели «смуты»?

Скептики-западники распространяют понятие «смуты» практически на все пространство русской истории. Поэтому элементы этого явления, возможности для параллелей изыскиваются едва ли не всеми желающими применительно к особенностям своего времени. Растаскивание модели на элементы и компоненты вызвано непониманием (перемешанным с неприятием) системного, целостного характера самой модели. Эти аналитические увлечения связаны с некоторой дезориентацией в череде смутных и спокойных эпох. На деле российская история не только не представляет собою одной большой и нескончаемой «смуты», но и вовсе не изобилует большими (моделируемыми) «смутными временами»². Смутное время — явление всегда исключительное (хотя и повторяющееся) и не продолжительное по сравнению с временами «несмутными»: активное течение его в открытой фазе не превышает обычно 15 лет. За всю свою историю Россия пережила не более трех подобных периодов.

Предварительно можно указать, что «смута» — это всегда период с особенно высокой степенью непредсказуемости разрешения исторического кризиса. Но в то же время это и период решительно пограничный, с четкими очертаниями и столь же четко формулируемыми и оправдываемыми альтернативными ожиданиями. Само гениальное название, порожденное народными авторами, подсказывает, что в момент политической ломки решительность, разрешаемость и четкость очертаний таятся под крайне неопределенными покровами, смущающими и размытыми личинами событий и их участников. Поэтому внутри Смутного времени историку совсем нелегко найти основания для приемлемой классификации и периодизации, нелегко восстановить причинно-следственные связи. Смутное время способно «смутить» (иррационализировать) мысль и современника, и историка. Оно всегда меняет облик самой Истории, стремительно демифологизируя и затем ре мифологизируя ее.

Триада «смутных времен» России открывается многовластием начала XVII столетия (и не ранее; почему — это вопрос, не входящий в задачи данной работы), продолжается революциями первых десятилетий XX века и замыкается современными событиями. Рассмотрим теперь модель «смуты» в разнообразии ее этапов и исторических проявлений.

Этап первый: отказ от традиции (1598—1605, 1905—1912, 1985—1991)

Как уже говорилось, периодизация явления Смутного времени достаточно условна. Мы имеем дело со стремительным калейдоскопическим карнавалом событий, цепью не всегда реализуемых «революционных ситуаций», мятежей, случайных союзов и ложных узнаваний. Поэтому и три наших версии «смуты» неоднородны по своей структуре, вариативны по формам, определяемым духом времени, конкретикой исторических обстоятельств и узлами традиции.

Собственно, *узлы традиции* (подчас гордиевы) — развязываемые, разрубает-

² Можно говорить о «малых смутах» как о любых значительных восстаниях или волнениях (пугачевская смута, дворянская смута 1825 года), но не как о термине и безотносительно к целостной модели «смуты».

мые, по-новому завязываемые — и есть ключевая метафора нашей модели. Так, первый большой этап «смуты» связан с отказом от традиции политической легитимации и приходится на ее первые 6—7 лет. Внутри этого этапа, конечно, можно различать еще меньшие, но это будет либо чрезмерной повествовательной обстоятельностью, либо возведением калейдоскопической действительности к уровню концептуальному.

Отказ от легитимирующей традиции, носителями которого всегда выступают «верхи», причем абсолютные «верхи» власти, в условиях начинающегося Смутного времени очень скоро делает власть *рабой делегитимации*, ею же близоруко лелеемой. Впрочем, всякий раз отказ от традиции оказывается не просто закономерным, но и подготовленным предшествующими десятилетиями.

Уникальны события начала первой «смуты» (конец XVI века). Тогда фокусом процесса разрушения старых и формирования новых узловых политических традиций стала проблема непрерывности монархического престолонаследования. Первая русская «смута», столь тесно связанная с пресечением династии царей-Рюриковичей, с порушенным таким образом механизмом легитимации, указывает на его единственную в своем роде реальную весомость для тогдашней политической традиции. Не исключено, что сменивший старую династию новый царь Борис Годунов именно по этой причине упорно считался причастным к убийству «царевича», единственного наследника Рюриковичей. Эта неприязнь к Годунову («яко не сподобися великого царя дару, печати славы небесная»³), к внешне благополучному началу его вынужденного царствования по происхождению своему иррациональна[3].

Собственно, Годунов был правителем (и удачным правителем) еще при царе Феодоре Иоанновиче, самодержце если не совсем слабоумном, то к государственному труду неспособном. Традиция освящала роль Годунова-*правителя*, но она отвергала Годунова-царя («работаря», по формулировке И. Тимофеева) несмотря на его избранность. Годунов, тяжело переживавший явную делегитимацию, старался умиротворить все сословия и кланы, отличался либерализмом и любовью к иностранцам.

Кризис политической традиции начался едва ли не в самой «умной голове» (как называл Бориса в конце 80-х годов юродивый Ивашка Большой Колпак) [3], когда та еще сидела на плечах *правителя* Руси. Для тщеславного Бориса, в качестве царского шурина до конца постигшего изнанку дворцовой жизни, разница между понятиями «царь Божией милостью» и «хороший правитель» была минимальной.

В сердце своем именно Годунов стал первым «самозванцем». А феномен «самозванства» равновелик феномену самой первой «смуты». «Работарь» (=самозванец, не правда ли?), действительно, мог быть причастным к убийству царевича, «свято место» которого пустовало все годы «смуты» и самой своею пустотой эту «смуту» продуцировало. Пресечение династии в таком случае перестает быть досадной для историков случайностью, а становится следствием отказа от традиции осуществляемого не самим монархом, а как бы за него.

В этом и причины уникальности, и вместе с тем основа своего рода «непроизвольности» возникновения первой «смуты». Две другие были порождены более осознанным отказом от существующей политической традиции. Правда, Николай II, подписывая 17 октября 1905 года Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», конечно, не открывал Америки. Этот акт был продолжением тенденций, возобладавших еще при Александре II. Точно так же предтечей горбачевских новаций следует признать Н. Хрущева. (И даже в случае с Годуновым можно говорить о подготовленности целого ряда элементов «самозванства», «смуты» и рационалистической концепции царя-правителя в определенный период царствования Иоанна IV Грозного.)

Три этих лица — Годунов, Николай II первого десятилетия XX века и М. Горбачев — при всей несхожести своей стремились сочетать в себе *обе традиции*:

³ Так пишет в целом объективный по отношению к Борису И. Хворостинин [2].

отвергнутую и едва наметившуюся, старались (насколько это возможно) не замечать их несовместимости. При этом Николай II и Горбачев не просто стремились сочетать противоречивые традиции, они в полной мере олицетворяли собою это противоречие. За весь период 1905—1912 годов царь Николай II много сделал для того, чтобы делегитимизировать самодержавие. Его последовательную и непреклонную (непреклонности обычно не замечают!) политику организации прочной законодательной сферы власти можно рассматривать только как подготовку общества к утверждению конституционной монархии. Слева политическая позиция царя граничит с думской платформой кадетов (оппозиции Его Величества), с лагерем П. Милюкова, в то время как ее внутреннее равновесие обеспечивается политическим курсом правительства П. Столыпина. Эта «правая» составляющая позиции Николая II проявляла себя в жесткой политике во время событий 1905—1907 годов, при роспуске двух первых Дум, при «мрачной» реакции конца 1908—1912 годов. После убийства Столыпина царская власть «осиротела» и, компенсируя утрату, решительно отбросила конституционную идею.

Подобным образом за период 1985—1991 годов Горбачев делегитимизировал властные prerogatives КПСС, но при этом умудрился остаться генсеком до самого конца — практически до того времени, когда перестал быть уже и президентом. Ситуация перестроечного этапа третьей «смуты» осложняется двойственностью геополитического плана: всем известно, что сложность территориальной структуры СССР, противоречия между союзными республиками сослужили плохую службу верховной власти. На выгодность «российской» карты Б. Ельцину, по всей видимости, впервые указал вдохновитель «смуты» А. Сахаров. Горбачев в отличие от Годунова и Николая II боролся не просто с центробежными силами системы, но еще и с отсутствием прочной федеративной основы империи.

Если бы не эта специфика посткоммунистической «смуты», она могла бы до сих пор продолжаться под знаком Горбачева. Ведь оставался же до 1917 года на троне Николай II, поддерживавший крутые меры реакции и проигнорировавший волю общественного мнения начала 1910-х годов. Тогда сама губернская территориальная система Российской Империи играла на руку самодержавию. По сути, в этой версии Смутного времени путч образца 1991 года был не нужен, царь уравнивал ситуацию, подавляя одни политические импульсы и канализируя другие (в частности, в рамках IV Думы).

В то же время результатом сдерживания развития событий в 1908—1913 годах было необычайно стремительное их развитие в 1917 году, вместившем в себе многие моменты Смутного времени, которые в других версиях проявляются несколько раньше.

Горбачеву не удалось удержать энергию «народовластия» в рамках тех институтов, которые были ему подконтрольны и неразрывно связывались с его президентством. Да и эти подконтрольные институты в результате его двойной игры ускользали из рук: лукьяновский Верховный Совет во время августовского путча почти успел солидаризироваться с ГКЧП. В первой «смуте» Годунов также не успел создать сколько-нибудь серьезных гарантов перетекания своей личной власти в легитимно-самодержавную. Скоропостижная смерть Годунова в 1605 году ввиду приближения войск Лжедмитрия I по-своему разрешила исход первого этапа «смуты». На основе своей личной власти и авторитета Борис наверняка смог бы дать отпор самозванцу, но у наследника престола Феодора Годунова такой опоры уже не было. Ближайшие сподвижники отца изменили ему, не поддержали его вопреки присяге ни войска, ни московские средние сословия. Старые принципы династического наследования были разрушены, новые еще не настолько вступили в силу, чтобы выдержать испытания кризисного времени.

Завершение первого этапа смут (1605, 1912, 1991) всегда ознаменовано мощной *реакцией* на отказ от традиции, это момент высокого накала страстей. Реакционеры выступают представителями поправленной традиции, дискредитированных властью священных авторитетов. Однако торжество реакции даже в лучшем случае исчисляется только годами. «Беззаконное царство» Лжедмитрия I, «самодержав-

ное мракобесие» (с организацией дела Бейлиса, с Ленским расстрелом и т. д.), «потерявшие всякий стыд и совесть путчисты» — под такими именами остается эта реакция в истории. Уже на первом этапе смут отчетливо выступает их характерный признак: неумение власти увидеть реальные причины политической дисгармонии, упрямое распиливание несущих конструкций государственности.

Этап второй: шизогония власти (1606—1611, 1912—1918, 1991—1996 (?))

Переход от одной стадии «смуты» к другой — точка особо высокой альтернативности событий, когда субъективный фактор истории плодит самые невероятные политические комбинации. Смерть Годунова сделала Москву почти на целый год заложницей Лжедмитрия I и пришедших с ним казацко-польских войск. Алогично развивались и события августовского путча 1991 года — несогласованность действий и некомпетентность заговорщиков поразили тогда всю страну. Несмотря на ввод войск в столицу, путч запечатлелся в народном сознании как феномен «смешного страшилища». С точки зрения карнавального аспекта истории ГКЧП и Лжедмитрий I могут быть поставлены на одну доску. Однако многие другие аспекты заставляют сравнить с самозванцем не только потерпевшие фиаско, но и победившие в августе 1991 года силы. Немало карнавальности в эту пору нес в своем облике и Президент СССР, который сыграл роль подставного лица, фиктивной маски власти, обманувшей реакционеров.

Оппозиции Годунов—Лжедмитрий по-своему соответствует не только оппозиция Горбачев—ГКЧП, но и оппозиция Горбачев—Ельцин. Всяк может выбирать, что ему по душе, тем более что толкования августовских событий ходят самые разноречивые. Как и популист Ельцин, Лжедмитрий I опирался на народное самосознание и сочетал апелляцию к попорченной традиции с радикальным новаторством (религиозный индифферентизм, абстрактный национализм, планы по созданию «сената», введению свободы перемещения, нарекание себя «ин-ператором»)⁴. В 1604—1605 годах народ зачитывался подметными листами самозванца и даже после его скоротечного краха еще называл его «нашим Солнышком ясным» (вот он, попорченный принцип легитимации!).

В Лжедмитрий есть что-то и от ГКЧП, и от Ельцина. Но Ельцин сумел победить своих противников и овладел ситуацией, поэтому легче закрепляется за ним параллель с Василием Шуйским, царем, «избранным криками» и главным организатором расправы над самозванцем. В контексте «смуты» и Годунов, и Шуйский, и Отрепьев причастны в той или иной мере к феномену «самозванства». Этого нельзя сказать о просидевшем до 1917 года на троне Николае II, многоликом и неизменно легитимном охранителе-реформаторе (в нем как бы сочетаются внутренние возможности и Годунова, и Шуйского, и Горбачева, и Ельцина).

На втором этапе рассматриваемых эпох возникают новые оппозиции, как бы «самовозрождающаяся смута». Шуйский—Лжедмитрий II (Тушинский вор) и Ельцин—Белый дом (силы Руцкого—Хасбулатова). Характерно то, что Шуйский в свое время поддержал на Лобном месте расстригу против Феодора Годунова. Не случайно и то, что Ельцин, Хасбулатов, Руцкой — это три главных «победителя» над путчистами, они же и три высших лица российской власти, личные средоточия ее легитимности.

На этом этапе утрачивается всякая определенность властных преемственности, наблюдается текучая релевантность политического знака. Уровень легитимности враждующих лагерей в определенный момент объективно совпадает, и возникает режим более или менее устойчивого параллельного сосуществования властей, период взаимных оскорбительных манифестаций, осад, блокад, выкуриваний и вышиваний. От группы былых соратников отпочковываются более

⁴ Здесь есть указания на очень интересную, но нас сейчас не отвлекающую тему сопоставлений политического духа Отрепьева и Петра I.

мелкие группы и, завалив нового общего противника, вновь организуются для борьбы между собой. Второй этап «смуты» обнажает ее ключевой феномен — шизогонию власти, доходящую до полного размывания легитимности, когда как народные низы, так и уважаемые сословия не знают кого признать вполне правомочным. Шизогонизирующая власть раскалывает все общество. И если это групповое рассредоточение общественности царь Николай II до поры связывал рамками Государственной Думы и покрывал своей монаршей мантией, то, начиная с февраля 1917 года, Смутное время наверстывает упущенное и оформляет политическую жизнь в виде биполярной оппозиции — так называемого двоевластия.

В 1917 году в альтернативу «думскому» правительству создавались Советы, в 1993 году помог сам принцип разделения властей, творить новые политические формы было не нужно. В результате упразднили старые — октябрь 1993-го закончил с теми самыми Советами. Наиболее длительной была открытая конфронтация властей в XVII веке — Москва и Тушино в течение 3 лет были «двумя столицами» Руси, в то время как по ее просторам шныряли банды своих и чужеземных головорезов. Поляки, казаки, боярство и чернь нашли себя в этих обстоятельствах и, вероятно, могли бы долго поддерживать существующее положение вещей, если бы не истощение сил бедствующего народа.

В разгар «смуты» народное сознание подхватывает всякую критическую информацию о власти и раздувает ее до мифа. Особенно резкие формы обрела эта мифология в отягощенной мировой войной России 1915—1917 годов. Неуважение к царю, слухи о Г. Распутине, потеснившем Николая если не на троне, то в спальне императрицы, перекликаются и с мифопоэтическими представлениями первой «смуты». Пристрастием к колдовству и астрологии («звездочетству»), как говорили, отличались Шуйский и Отрепьев. Символом колдовского наваждения на Русь — мифологической напарницей Распутина — стала «царица» Маринка, сожительствовавшая с обоими Лжедмитриями, а в промежутках между ними и после них не брезговавшая и «холопами». Что касается параллелей к третьей «смуте», то здесь наличного материала еще недостаточно, чтобы делать более или менее точные выводы о проявлениях современной политической мифологии.

Шизогония власти не была прекращена ни Шуйским, сумевшим было разгромить тушинцев, ни Ельциным, штурмовавшим Дом Советов и в значительной мере подчинившим законодательную ветвь власти. Но Лжедмитрий II вновь приступил к Москве, и Шуйского свергли с престола; Ельцин на выборах в декабре 1993 года и 1995 года был вынужден смириться с поражением радикальной демократии, своей главной идеологической опоры. Состав V и VI Дум оказался ничуть не более выгодным, чем состав съезда, октябрьские «мятежники» и августовские «путчисты» были вскоре амнистированы парламентом и заняли видные места в Думе.

Как сверхбольшую мафиозную разборку восприняли многие начавшуюся в конце 1994 года «окупацию» Чечни правительственными войсками. Но «дудаевская» проблема во многом связана с «хасбулатовской», а сама «чеченская война» представляет собой момент высшего напряжения и военный очаг *самопоедания* шизогонизирующей российской власти. Шизогония — трудноизлечимая, как видим, до поры совершенно непреодолимая историческая болезнь. Но деятельность демократов-правозащитников долгое время была направлена не против шизогонизирующей власти, а, согласно гуманистическим идеалам, против ее агрессивных проявлений.

Плачевно закончилась шизогоническая политика Временного правительства, пытавшегося проигнорировать Советы рабочих и солдатских депутатов и в то же время не смеявшего их запретить. «Может быть два выхода, — говорил в феврале 1917 года В. Шульгин: — все обойдется — государь назначит новое правительство, мы ему и сдадим власть. А не обойдется, так если мы не подберем власти, то подберут другие...» [4]. На точно таких же основаниях после свержения Шуйского в Москве учредилась Семибоярщина (власть Боярской Думы).

В этой версии «смуты» альтернативой самозванству и власти черни в 1610 году

изначально представлялось призывание на царство иностранца — сына польского короля Сигизмунда III Владислава: «Лучше служить королевичу, чем быть побитыми от своим холопов и в вечной работе у них мучиться» [5]. Так и Миллюков, выступавший в середине 1917 года за войну до победного конца и захват Босфора, чуть позже, осознав большевистскую угрозу, уже возлагал свои надежды только на немецкую оккупацию. Неудачной оказалась и попытка правого большинства Временного правительства обуздать радикализацию революции корниловской диктатурой — кадетов подвел социалист А. Керенский, неожиданно объявивший об измене генерала. Ничем, как и «корниловский мятеж», закончилась национально-освободительная кампания патриарха Гермогена и главы народного ополчения П. Ляпунова, поддержанных частью Семибоярщины,— анархический разгул грабителей и разорение Москвы в 1611 году достигли небывалого масштаба. Это время в народе было прозвано «лихолетьем». В XX веке «лихолетью» соответствовало начало Гражданской войны, кровавый 1918 год.

Все это, понятно, служит нам теперь грозным предупреждением, ибо до конца второго этапа нынешней «смуты» остается не менее полутора и не более нескольких лет. Не станет ли очередным «лихолетьем» 1996 или 1997 год? Миролюбие нынешней «смуты» не должно нас успокаивать — относительно бескровным *внутри* государства было и первое десятилетие предыдущей «смуты» (1905—1917).

В декабре 1610 года произошла еще одна многоразрешившая случайность первой «смуты» — скончался Лжедмитрий II (Тушинский вор). Учитывая его возраставшую как на дрожжах популярность, можно предположить, что с этой смертью была бы сравнима гипотетическая смерть В. Ленина, скажем, в середине 1917 года. Нельзя исключать того, что на месте М. Романова со всей последующей династией русских царей мог оказаться и победитель-самозванец.

После Лжедмитрия II радикальные силы «смуты» (чернь) уже не успели поднять на щит претендента, которого поддержала бы значительная часть народа. Между тем в 1918 году именно Ленину и его дисциплинированной команде довелось покончить с шизогонией центральной власти и перенести фронт гражданской непримиримости из столиц на периферию европейской части России. Тот же, кому удастся преодолеть шизогонию смуты, тот и пишет впоследствии историю «смуты» так, как это ему по душе.

Подводя итоги второго этапа Смутного времени, следует сказать, что в эти решающие для судеб страны годы не существует власти в обычном смысле этого слова, политические институты не являются *чем-то позитивным*, они представляют собой самопоедающую государственность, причем в последней, третьей, «версии» русского перелома «смута» особенно институциализирована, *замаскирована* под государственность. Шизогонизирующая власть успешно разрушает остатки былого политического уклада, растрчивает накопленные предшественниками резервы и средства, транжирит и продает золотой и нефтяной запас, влезает в долги к другим государствам; она борется за государственный «пирог» и впоследствии, перераспределив места и сбалансировав силы, делит этот «пирог». Эта материализованная и персонифицированная «смута» (*воображающая* себя Властью) является таковой потому, что она не способна или не желает обеспечить себе как власти прочное будущее.

Этап третий: преодоление смуты (1611—1613, 1918—1920/21, конец 1990-х годов)

«Лихолетье» XVII века прямо обернулось шведской и польской интервенцией, Сигизмунд III перестал скрывать свои завоевательные планы, разуверившись в возможности посадить в Москве «легитимного» ставленника. Интервенцией был отмечен и 1918 год. В обоих случаях зарубежные державы стремились не допустить исключения России из мировой политической системы. В XVII веке это

означало расширение католического влияния (папа был глубоко заинтересован в «смуте» и всячески воздействовал на самозванцев, добываясь от них различных обещаний). Разрыв большевиков с Антантой и заключение Брестского мира означало курс на рост внутренней самооценности государства (до Ленина никто и не думал решаться на такой радикальный курс). Для России включенность в мировую политическую систему всегда приводила либо к господству в мире, либо к геополитической капитуляции. Понятно, что в условиях Смутного времени ослабленная Россия могла рассчитывать только на второй вариант.

Этот существенный аспект роднит пришедших к власти большевиков с теми силами «земского войска», которые начали брать под контроль ситуацию к началу 1612 года. Однако существуют и другие аспекты. Недоброжелатели советской революции указывают на засилье в большевистских рядах польско-грузино-еврейского элемента. На роль князя Пожарского в 1918 году справедливо притязал и адмирал А. Колчак (продолжатель дела Л. Корнилова, которого мы уже сравнивали с Ляпуновым, предтечей К. Минина и Д. Пожарского). Хотя Колчак и сотрудничал с интервентами, в контексте белогвардейского мировоззрения это было лишь продолжением союзничества с Антантой, отнюдь не враждебной по отношению к России на протяжении всей второй «смуты» (народный герой XVII века М. Скопин-Шуйский сотрудничал со шведскими наемниками и успешно громил смутьянов). Белогвардейцы как неудавшиеся спасители России и освободители Москвы в оппозиции к Ленину как одолевшему их Тушинскому вору, вождю черни (и, кстати, «немецкому шпиону») — вполне допустимый вариант.

Но по-своему приемлем и другой, «авангардный», вариант Минина и Пожарского как Ленина и Л. Троцкого, блестяще организовавших Красную Армию, выдержавших фронтовую блокаду бояр-изменников и отразивших интервенцию. Однако доводом против данного варианта является подозрение большевиков в участии в «международном заговоре» против России. Пожарский и Колчак возможность такого подозрения сами по себе исключали.

В отличие от Семибоярщины (действительно весьма напоминающей по своей неоднородности и непоследовательности Временное правительство) оба крупнейших самозванца начала XVII века выделялись после прихода к власти своим упрямым национализмом: Лжедмитрий I в 1605 году дал окорот притязаниям Римского папы и шведского короля, а Лжедмитрий II еще в 1608 году, сидя в Тушине, отказался подчиняться своему патрону Сигизмунду III, «ставленником» которого он как будто являлся. В третьей версии «смуты» радикальные демократы неизменно предстают в виде ставленников Запада, Международного валютного фонда, и окончательное раскрытие этой проблемы еще впереди. Однако поддержка Западом Ельцина и в августовских, и в октябрьских событиях, а также продолжение несмотра на маскировочные акции власти вестернизации России указывают на большую вероятность победы на следующем этапе «смуты» противоположных тенденций. Когда запас терпения и внутренний завод шизогонии исчерпают себя, либерально-бюрократической группировке придется столкнуться в решающем противостоянии с державно-националистической группировкой, которая не станет уже считаться с мнением Запада, как это делали Горбачев и Ельцин. Помимо коммуно-патриотического большинства Государственной Думы к ней следует отнести из известных политических сил и остатки группировок, потерпевших от Ельцина поражение в начале 90-х годов.

Правительство Ельцина—Черномырдина, завершив в последнее время основную приватизацию и вывод войск из Европы, не сумело остановить процесс экономической дестабилизации (и падения жизненного уровня населения), не смогло должным образом возглавить интеграционный процесс СНГ, тенденции которого все явственнее нарастают. Неудача на президентских выборах 1996 года блока Черномырдина в этих условиях означает окончательное поражение радикальной демократии и относительное поражение либерализма в России. У теперешней власти, санкционировавшей в самое последнее время создание двух «центристских» избирательных блоков (признак шизогонии, а не двухпартийной

системы), до сих пор не родилось концепции, которая органично сочетала бы в себе элементы либерализма и приверженность самоценной российской государственности. Без такой концепции она не сможет возглавить политическое преодоление «смуты». И тогда новый узел русского традиционализма завяжет другая — нелиберальная — власть, причем на пути к этому Россия может испытать еще весьма ощутимые утраты.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ортега-и-Гассет Х.* Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 316.
2. Цит. по: Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII вв. М., 1987. С. 436.
3. *Скрынников Р. Г.* Государство и церковь на Руси XIV—XVI вв. Новосибирск, 1991. С. 354.
4. История политических партий России/Под ред. А. И. Зевелева. М., 1994. С. 134.
5. *Нечволодов А.* Сказания о Русской земле. Ч. IV. СПб., 1913. С. 511, 512.

© В. Аверьянов, 1996